

«Я действительно выросла в Коктебеле»

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1411>

20 марта 2012

Собеседник

Северцева Ольга Сергеевна

Ведущий

Споров Дмитрий Борисович

Дата записи

Беседа записана 20 марта 2012 и опубликована 31 мая 2021.

Введение

В первой беседе Ольга Северцева, выросшая в семье искусствоведа Александра Габричевского и художницы Натальи Северцовой, рассказывает о давно утраченном сельском и тихом Коктебеле, куда впервые попала в пятилетнем возрасте в 1937 году, а в следующий раз — спустя десять лет, после войны. Ольга Сергеевна вспоминает о Марье Степановне Волошиной, всю жизнь после смерти Волошина сохранявшей его дом открытым, рассказывает о неожиданной покупке собственного дома Натальей Северцовой в 1947 году, вспоминает круг друзей Габричевского и послевоенный быт в Коктебеле.

Непосредственность, резкость в оценках, мощный темперамент и насмешливый характер, отличающий Ольгу Сергеевну с юности до сегодняшнего дня, и, в то же время, огромный пиетет к ушедшему поколению ученых, художников, литераторов делает рассказ Ольги Сергеевны не всегда последовательным, но всегда — неформальным и живым.

Квартира под Зоологическим музеем

Дмитрий Борисович Споров: Вы родились уже в таком кругу, уникальном кругу, круг семьи, который вас, собственно, сопровождал всю жизнь, знакомые, и вот это все...

Ольга Сергеевна Северцева: Но отец и мать были в разводе.

Д. С.: Ну, в разводе. Все равно.

О. С.: Нет, поэтому я жила до войны в Ленинграде.

Д. С.: Да, да, но это я слышал...

О. С.: А потом я переехала...

Д. С.: И та уникальная среда, которая в старых интеллигентских семьях оставалась и остается в некоторых случаях, это и интересно. Поэтому мне бы хотелось вас расспросить про те неформальные, нерабочие контакты, которые у вас были: дружеские или, может быть, какие-то профессиональные, с людьми искусства, с художниками, еще с кем-то. Те, кто бывали у вас дома, с кем вы были... близки в дружбе, в приятельстве, неважно. Интереснее всего именно так построить [беседу], потому что да, работа в Третьяковской галерее, старая история...

О. С.: Нет, это все не интересно...

Д. С.: Это все интересно, но это немножко другое. А тут живые ваши свидетельства о людях XX века. Вот просто, из любопытства, встречались ли вы, дружили ли вы с Фальком, с Ангелиной Васильевной и с этим кругом...

О. С.: Ну, Фальк же писал меня¹.

¹ Подробно о позировании Фальку Ольга Сергеевна рассказывает [в другой беседе](#).

Д. С.: Вот, поэтому расскажите, пожалуйста...

О. С.: Нет, дело в том, что, понимаете... у меня в моей семье или в моей жизни по разным направлениям были предки. Потому что мой отец женился на моей маме во время биологической экспедиции. Это был, какой там, 22-й, что ли, год... на севере, на Белом море. Приехали, две школы соединились студенческие там: биологи петербургские и биологи московские. Со стороны мамы у меня предки тоже достаточно интересные, которыми надо еще заниматься. Конечно, о них я знала меньше, чем о семье Северцевых-Габричевских, потому что тогда я была слишком мала. Это уже разыскание более позднее, уже сознательного времени.

Но с другой стороны, меня привозили почти каждое лето в Москву... до войны еще. А до войны я еще поступила в балетную школу Мариинского театра и прouчила там... год, наверное, только. И началась война. А в 40-м году... нет, в 37-м году Наталья Алексеевна — это моя тетка, жена Габричевского, взяла меня в Коктебель в пяти-шестилетнем возрасте. Потому что в сентябре у меня день рождения, значит, пятилетняя, и там у меня был день рождения. И, как ни странно, я запомнила... у меня есть вспышки эпизодов, то есть тех видела, этих видела. Осмысление приходит, конечно, гораздо позже, но эти запечатленные картинки — они, все-таки, остались.

Это тоже было довольно интересно, так я теперь думаю, потому что в Коктебеле был Александр Георгиевич [Габричевский], Наталья Алексеевна [Северцова]... они снимали дом или комнаты в том доме, который потом мы купили спустя десять лет, уже после войны, когда была полная разруха, в 47-м году. А это я была в 37-м году. И дело в том, что Марья Степановна [Волошина]... Понимаете, Габричевские в Коктебеле с 24-го года, потому что в 24-м году в нашу квартиру (я буду говорить: «нашу») в Московском университете в Зоологическом корпусе...

Д. С.: На Грановского?

О. С.: Ничего подобного.

Д. С.: Нет?

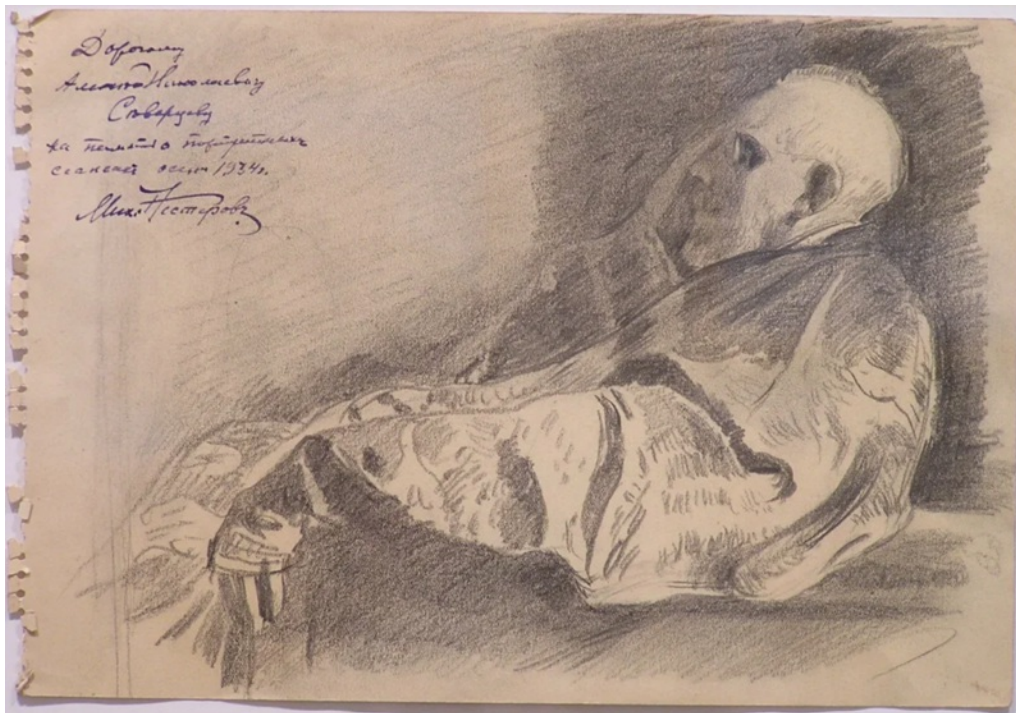
О. С.: На Белинского. Зоологический музей.

Д. С.: Понятно.

О. С.: И наша квартира была под Зоологическим музеем, который основал Мензбир, Музей эволюционной морфологии². И там были скелеты всевозможные, галерея там была. Я не знаю, они, по-моему, не праздновали. Потому что музей³, по-моему тоже, открылся в 11-м году или в начале 12-го года, тоже могли бы, наверное, столетие праздновать...

² М. А. Мензбир (1855—1935) — русский и советский зоолог и зоогеограф, заслуженный профессор Московского университета и ректор Московского университета был организатором и директором Института и музея сравнительной анатомии Московского университета (1901—1911).

³ В 1911 году открылось специально построенное для Зоологического музея новое здание на Моховой улице. В крыльях корпуса оборудовали жилые помещения для университетских профессоров зоологической кафедры и кафедры сравнительной анатомии. В 1931 году научная коллекция музея была преобразована в академическую лабораторию под руководством А. Н. Северцова. В том же году к Зоологическому музею Московского университета присоединили Музей сравнительной анатомии.



М. Нестеров. Портрет А. Н. Северцова (эскиз к портрету 1934 года). Частное собрание

И у нас была лестница из нашей квартиры в этот Мензбирковский музей, а кабинет моего деда⁴, академика, был... Надо было пройти в музей и в коридоре направо и налево были кабинеты или там занятия были, и один из кабинетов принадлежал Северцову.

Д. С.: А северцовская квартира и кабинет, они существуют?

О. С.: Нет, конечно. Нет, доска мемориальная висит, кабинета нет.

Но эта лестница и этот кабинет — это все описано у Булгакова в «Роковых яйцах». Профессор Персиков-то — это мой дед.

⁴ Алексей Николаевич Северцов (1866—1936) — дед О. С. Северцовой, русский биолог, основоположник эволюционной морфологии животных, создатель русской школы морфологов-эволюционистов. Его именем назван Институт эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР.

Д. С.: А, вот оно что.

О. С.: Это все доказала Чудакова Мариэтта⁵, вы знаете ее. Но это действительно так. А вот в моей книжке есть ошибка у Мильдона: что Булгаков и Северцов познакомились у Волошина. Во-первых, Габричевский приехал раньше Волошина, то есть, не Волошина, а Булгакова на год или на полтора... ну по сезону, я не помню. А во-вторых, Булгаков слушал лекции Северцова, когда он преподавал в университете... не в московском, а в киевском. А он был на медицинском. А поскольку дед читал об эволюции, то к нему бегало довольно много всякого народа. И когда Булгаков перебрался в Москву, то он тоже заходил на квартиру деда, потому что в 11-м году деда после реформы Кассо⁶ Мензбир попросил приехать в университет. До этого тоже интересный [период], потому что после окончания университета и получения профессорского звания его — почти все прошли этот путь, очевидно, это было принято, — он направлялся в Тарту, Юрьев, из Юрьева — в Киев, а из Киева обратно в Москву. И так прошло очень много [времени], и в Юрьеве было очень много интересных людей, и из Петербурга, и из Москвы.

⁵ См. М. О. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988

⁶ В январе 1911 года вышел циркуляр министра просвещения Л. А. Кассо «О временном недопущении публичных и частных студенческих заведений», запрещающий проведение собраний в университете. Он вменял в обязанность ректорам препятствовать проникновению в университет посторонних лиц и сообщать в полицию о предполагаемых сходках. В ответ на это подали прошение об отставке и были уволены с запретом заниматься учебной и просветительской деятельностью ректор Московского университета А. А. Мануйлов, помощник ректора М. А. Мензбир и проректор П. А. Минаков, после чего из университета уволились еще 108 профессоров.

Знакомство Габричевского с Волошиным. Коктебель

О. С.: И вот меня привезли семилетней, шестилетней, опять запуталась, да... 37-й год — пятилетней в Коктебель.

Д. С.: Я так правильно понимаю, что с тех пор вы Коктебель не покидаете, и время от времени..

О. С.: Ну, нет. Во-первых, война... И потом в 47-м году мы купили там развалюху, потому что жить было негде (*смеется*). Отношения Волошина с Габричевским были замечательные. Я очень много об этом знаю, потому что в разговорах это все время всплывало. У меня такое впечатление, что я прямо очевидец. Во-первых, я потом сидела в архиве Волошинского дома, во-вторых, есть воспоминания Натальи Алексеевны, есть еще какие-то воспоминания. И самые яркие эпизоды, наверное, жизни — у меня такое впечатление, что я их прямо видела, когда были спектакли, когда были прочие...

Дело в том, что когда Волошин приезжает в Москву в 24-м году (это первый приезд его после революции), то в [нашу] квартиру приводит его ученик моего деда, который организовывал в Крыму (он биолог) заповедник... какой-то Южный заповедник где-то над Ялтой или Ай-Петри, Красный Камень, где-то там. И когда он приходит в квартиру, то он говорит: «Ой, я так интересно провел время, познакомился с хорошим парнем».

Д. С.: Который еще и рисует.

О. С.: Стишки читает.

Д. С.: А, стишки читает.

О. С.: Стишки читает. Наталья Алексеевна ничего о Волошине не знала, она была молоденькой, ей было 22 года. В университете она не училась, в общем, у нее, кроме гимназического курса, ничего не было. А Александр Георгиевич, конечно, говорит: «Ну, конечно, приводи». Волошина и привели.

И по воспоминаниям Натальи Алексеевны, Габричевский и Волошин прямо впились друг в друга, и у нее такое выражение, «как пинг-понговые шары», между ними была такая переключка идей, имен, восторгов.



А. Габричевский. Портрет Максимилиана Волошина. 1926. Частное собрание

Александр Георгиевич еще на приход Волошина пригласил целый ряд людей, своих друзей. И Волошин пригласил в лето 24-го года всех приехать. И вот с 24-го года началась эта теснейшая [дружба]. Я даже могу утверждать, что, наверное, ближе, чем с Александром Георгиевичем у Волошина в этот период не было отношений. Это было какое-то... и вообще, эти взаимоотношения замечательные — это любовь, это уважение, это интерес, это игра ума, то есть между ними такое слияние прямо было. И Александр Георгиевич привозит туда своих друзей гахновцев, а, вообще, ГАХН, он не возник случайно.

Д. С.: Я знаю, что такое ГАХН, конечно.

О. С.: Он возник из университетской кафедры, весь этот авангард мысли, это все поступательное развитие историко-филологического факультета и философского образования, потому что когда ГАХН возник[ла], все друзья Александра Георгиевича из университета были так или иначе перетасованы в ГАХН. И поэтому все философское отделение — это продолжение университетской мысли. Но искусствоведческой гораздо меньше, потому что искусствоведов толковых было очень мало и вообще... Это ничего, что я так безапелляционно говорю?

Д. С.: Ваше мнение. Можете всех дураками назвать.

О. С.: Нахальная, да (*смеется*)? Вообще, не было искусствоведов. Ну, были немецкие искусствоведы, конечно, это все ассимилировано, а им что? Учиться было просто, потому что все знали не менее пяти-шести языков, поэтому никакие переводы и еще что-то такое или отсутствия литературы не могло быть. Поэтому они развивались. У меня есть перечень курса Александра Георгиевича. Одни имена: Лосев...

Д. С.: Вы упомянули про Коктебель, для меня тоже это такое место особенное, я очень люблю там бывать.

О. С.: Не надо больше бывать.

Д. С.: Ну, последние несколько лет я не был.

О. С.: И не надо больше ездить (*смеется*).

Д. С.: Ну да, наверное.

О. С.: Там тяжело находиться... правда.

Д. С.: Там застроили все уже, да?

О. С.: Это трех- или четырехэтажные дома... берег застроен вроде такими гостиницами или торговыми, не знаю, как сказать, местами, лавочками. Идешь по улице... гор не видно, о море не подозреваешь, и кругом, особенно, в августе — вонища (*смеется*). А в море... не хочу сказать, что плавает. Потому что все эти дома и гостиницы все-таки украдкой сливают все в раковину.

Д. С.: Обычное свинство.

О. С.: Вы знаете, я действительно выросла в Коктебеле. Это моя земля, моя страна, мой вид и все прочее. Но дело все в том, что теперь этого нет. Это все закрыто и обгажено, поэтому, что говорить... непонятно, для чего ехать. Туда можно ехать или весной, или в конце сентября. Когда все разъезжаются. Но ведь на Карадаг ходить нельзя — это заповедник. Идти в Старый Крым? Это только единственная, может быть, дорога. Соседние бухты — там тоже все загажено, а где Орджоникидзе, там тоже построены бетонные дома. Так что деваться просто некуда совершенно.

И около меня — около моего забора — у нас дом в такой... узенькое пространство было такое в глубину. Не снаружи дом, а как бы за садиком, тем более, что главный дом, состоящий из одной комнаты на подвале, он — в горе, в холме. Подвал врезан в холм, и все думают, что это двухэтажное помещение. Вход в подвал, на котором стоит еще балкон и одна комната. Все думают, что это двухэтажный дом. Но в него надо по лесенке каменной подняться, там часть холма срезана — это были постройки, коровник, все прочее. А вот садик был немножко приподнят. Вообще-то, на разных уровнях, все шикарно (*смеется*), а теперь построили два дома, которые вообще загораживают от меня солнце. И я живу в такой щели, и я только могу вперед смотреть, как в аппарат, и вообще даже головой крутить не могу, потому что ничего не вижу. Вот все. Ну что делать? А он такой, можно считать, музейный, и я не знаю, что с ним делать.



Александр Габричевский в Коктебеле. 1960-е. Архив О. С. Северцевой

Музею волошинскому я не могу отдать, они с волошинским-то домом не справляются, я даже говорю подарить, сделать музеем, потому что там много болгарских вещей. В позапрошлом году меня ограбили и украли татарские вещи всякие. Это первый раз за 50 лет, кувшины какие-то, всё, что мы собирали, когда татар выгнали, и всё свозили в металлолом, мы с Натальей Алексеевной ездили на эти свалки и выкупали там какие-то тазы, кумганы, вообще что осталось... кофейнички эти.

Но это все хранилось, а теперь и это украли, так что я не знаю, как жить, честно говоря.

Конечно, когдаходишь и когда я у себя на кухне или наверху в доме, когда я вижу только интерьер, мне приятно там находиться, а уже выглянуть — уже мороз по коже продирает, потому что отвратительно, просто отвратительно.

Мы ходили по Коктебелю все босиком, по пыли и грязи, но грязь была киловая, глинистая или мягкая пыль, в которую это все превращалось, когда не было дождей... Такие были совсем местные, крестьянские. И потом, конечно, эти коктебельские прогулки, которые начал еще Волошин. Есть несколько замечательных воспоминаний такого Константина Михайловича Поливанова, где он записал прогулки с Максом. И там много всяких еще дамочек, которые записывали прогулки, которые жарко дышали от всех рассказов Макса. Люди же любят, или дамы очень любят воздыхать.

Д. С.: Ну понятно, конечно.

О. С.: Так что такое было, конечно, отношение. Но, с другой стороны, все-таки те друзья Габричевского, которые им были привезены как подарок Макс — это был круг для Волошина совершенно замечательный, и по письмам даже: «Когда же вы приедете, мне так интересно знать, что вы надумали нового? Какие проблемы вы решали?» И так далее, и так далее. То есть он ждал приезда Габричевского и целого ряда друзей: это и Федор Александрович Петровский⁷ — классик... Список большой.

⁷ Фёдор Александрович Петровский (1890 — 1978) — филолог-классик, преподаватель древних языков, переводчик античных авторов.



М. Волошин. Пейзаж (с посвящением А.Габричевскому). 1925. Архив О. С. Северцевой

Веселая жизнь в голодное время

Д. С.: Я встречал в воспоминаниях тех, кто пишет о Максовом доме и вообще о Коктебеле и о Габричевском там много, естественно. А ваш круг, вы же другого поколения человек. Вот в Коктебеле ваш круг — это кто?

О. С.: Нет, это не так. Потому что мой круг — это дом Габричевских. Это очень интересно: мне всегда было интереснее дома, чем где бы то ни было. Это я уже анализирую то, как я жила. Конечно, я об этом абсолютно не задумывалась. Физически я была очень крепкой, так бы я сказала. Поэтому собиралась моего возраста, конечно, молодежь, но наши прогулки были через Карадаг в Козы. Козы — вот это селение между...

Д. С.: Это в сторону...

О. С.: Судака.

Д. С.: Да, теперешнего... Курортное?

О. С.: Нет, Курортное — это биологическая станция. А мы еще дальше. Теперь... я там живу теперь. Да. Вступать надо в наследство, потому что мы это сделали на моего сына...

Д. С.: Так это достаточно далеко от Коктебеля.

О. С.: Двадцать километров.

Д. С.: Да, это уж не Коктебель совсем...

О. С.: А мы всегда ходили за камушками через перевал. Выходишь на заре, берешь там какой-нибудь хлеб или еще чего-нибудь, в Отузах Нижних покупаешь виноград или прешь арбуз... рюкзак или еще чего-нибудь и идешь за камушками...

Д. С.: За камушками в Сердоликовую бухту.

О. С.: Нет, не в Сердоликовую, а в Козы.

Д. С.: А Козы — это что такое?

О. С.: А Козы — это «глаза», вообще-то. Козы — это надо пройти Приморье или биостанцию... туда дальше к Судаку, идешь в Лисью бухту, из Лисьей бухты еще много всяких таких крохотных бухточек, они такие, не пляжные совсем, там через какие-то валуны, камни, там, надо перелезть...

Д. С.: Я там ходил.

О. С.: Наверное, ходили! Потом попадаете в Козы, в которых тоже сердолик и окаменелости. И вот это собирание камней, а потом возвращаешься обратно, но это приблизительно 37 километров туда и обратно получается... 35, может быть.



Оля Северцева в Коктебеле. 1950. Архив О. С. Северцевой

Д. С.: Прекрасно.

О. С.: Мы так гуляли. Мы почти никогда не лежали на берегу... Ну, в Янышарах (это то, что называется Тихой бухтой, я ненавижу это название, потому что через горы, через холмы, через овраги или по морю идешь). Все время какие-то движения, путешествия. А в Янышарах надо было обязательно сплавить на Паруса. Парус — это посередине Янышар такая торчащая скала, но она разрушилась во время землетрясения 27-го года. Она была другой формы, но на фотографиях я что-то не помню, а теперь только такая — несколько шишей торчит. Там тоже два километра минимум туда, два километра — обратно плавать. Вот почему плавать-то. Плавание, вообще вода — моя стихия, но только морская, в пресной воде я сразу тону. Я не могу, и глаза щипет (*смеется*). Я не могу плавать в пресной воде, в речке ничего не получается, никакого удовольствия, ни радости, ничего.

«Идем в Старый Крым?» — «Идем!» И обратно так же идем или на попутках... грузовики же были в то время-то, машин-то ни у кого вообще не было. Это было редчайшее явление просто.

А все остальное время, конечно, было интересно с Габричевскими. Во-первых, конечно, никто не собирался у них набираться ума или разума, или там знаний. Это ассимилировалось между прочим, Александр Георгиевич нам лекций никогда не читал (*смеется*). Но они были очень веселые и Наталья Алексеевна, и Александр Георгиевич, это, вообще то, было довольно интересное сочетание. Наталья Алексеевна такая импульсивная, фонтанирующая, с какими-то остротами, шутками. Сделалась в пятьдесят лет живописцем... собирание тоже этих габрияков — корней, которые превращались в какие-то существа. И, не знаю, весело.



Н. Северцова. Габрияк. Собрание О. С. Северцовой

Причем голод, вообще-то при всем при этом. Изысканной еды никакой нету... Когда мы вот туда поехали, в 47-м году были еще карточки, и мы всю зиму собирали от карточек крупу, подсолнечное масло, вообще всё, и везли туда — это называлось тихой сапой — в багажных вагонах было две плетеных больших, как сундуки, корзинки, и там была крупа, мука, подсолнечное масло... Что еще мы могли везти? Наверное, больше ничего. И это ели, то, что от зимы у нас набиралось. И веселились ужасно!

О судьбе жителей Крыма во время войны

Д. С.: Ну, там-то все-таки юг, поэтому виноград, все фрукты, там же все-таки...

О. С.: Ну какой же виноград?

Д. С.: Родились же...

О. С.: Нет.

Д. С.: Ну как, не было винограда? В 47-м году?

О. С.: Конечно.

Д. С.: Почему?

О. С.: Потому что туда перевезли переселенцев, выселили всех татар, болгар, греков... всех.

Д. С.: Ну, это понятно.

О. С.: 44-й год... 44-й, там довыселивали, наверное, до 45-го года. И прислали туда, перевезли из Вологды, из Иваново-Вознесенска, я не знаю, откуда... русских. И им разрешили занять брошенные дома, помимо того, что другие были просто разрушены войной. Когда мы приехали, это действительно была первозданная совершенно земля, и было домов тридцать вместо... наверное, домов сто было до войны, я так думаю. Еще несколько санаториев было. Что сделали переселенцы? Вырубили виноградники и посадили картошку. Ну, какая картошка может без воды, вообще в этой земле вырасти?

Д. С.: Вообще что ли все виноградники?

О. С.: Но ведь за виноградниками надо ухаживать, чтобы они плодоносили хорошо, а людей знающих уже не было, или почти не было, так скажем. Остались только русские и украинцы, и болгары.. болгарки, у которых мужья были на фронте. Вот их не выселяли, если они предоставляли документы.

Но осталось какое-то количество старых домов, в том числе такой, какой мы купили. Поэтому это кажущиеся фрукты. Конечно, что-то такое крестьяне не из Коктебеля, а из каких-то, не знаю, что-то привозили. Да и кормить-то некого было... местные только, да.

Еще в Доме творчества, который в 47-м году, по-моему, уже открылся, было пятнадцать или максимум двадцать человек всего. И все помещались на верандочке Волошинского дома. А потом уже построили столовую, которая с балюстрадой, и так далее. А так этот пятачок только и оставался. Но дело в том, что в письме Александра Георгиевича из Свердловска, из ссылки, написано: «Наташа, сегодня счастливый день, по радио сказали, что освободили Феодосию, и упомянули Коктебель». И очень быстро из Коктебеля стало известно, что Анна Александровна Кораго, которая жила вместе с Марьей Степановной, и Марья Степановна — живы. Это мгновенно дошло в Москву. Ну, счастье было, конечно!

В 46-м году, по-моему, никто не ездил... в 47-м, наверное, поехал... Ну, наверное, кто-то в 46-м заехал. Мы в 47-м, да. Мы остановились в этом доме, который сейчас у нас. Это были хозяйственные службы: это коровник был, кухня, в которую Александр Георгиевич никак не мог войти (*смеется*), потому что надо было сгибаться, а ему сгибаться, по его фигуре, ужасно трудно, и на верх двери Наталья Алексеевна набивала такую подушечку, иначе он свою лысую голову всегда расцарапывает и каждый раз говорил: «Ой, опять!» — «Но ты же можешь запомнить, что, вообще, здесь надо наклоняться». Ну, не свойственно ему это было, так что ссадина на голове была постоянной. И мы с ней вдвоем приехали сначала, положили вещи, сняли... Хозяйка оставалась, муж умер во время войны, а может, и на фронте был, не знаю, не знаю, и у нее была дочка такая полусумасшедшая и сын. Сын не был на войне, он потом погиб, его убил сосед. Еще семья Дубовиков такая была, рядом совсем, через этот дом.



Александр Габричевский и Олег Стукалов в Коктебеле. 1960-е. Архив О. С. Северцевой

Ну вот, положили вещи, какая-то у нас еда была, но электричества не было, воды не было, топлива не было, ничего не было. Мы пошли послать телеграмму, что мы доехали, потому что ехали мы минимум — я подсчитывала — тридцать пять часов, потому что, помимо того, что мы стояли — большие были остановки, долгие — еще надо было, чтобы феодосийские вагоны прицепили к местному поезду...

Д. С.: В Арзамасе.

О. С.: Нет, там какой-то ходил по Крыму... Джанкой — Феодосия, такой рабочий поезд, не электричка — там электричества не было. И наши вагоны отцепляли, и надо было часов пять ждать, когда нас прицепят к местному поезду — такое было расстояние. А поезд шел на Евпаторию, через Симферополь до Евпатории, то есть совсем в западную часть, а не в восточный Крым.

«Доехали благополучно купили дом вышли пять тысяч»

О. С.: Наталья Алексеевна сказала, что мы пойдем, во-первых, поздороваться с Марусей, узнать, что к чему, и послать телеграмму, что мы доехали. И когда мы вышли из калитки, а калитки у всех были из спинок от кроватей, это были проволоки колючие, которые вытаскивали после войны от заграждений, спинки от кроватей, которые так открывались. И вот почти рядом с этим домом, из которого мы вышли (там три маленьких домика стояло), и на среднем участке была большая вязанка хвороста. Мы зашли и спросили, можем ли мы купить этот хворост. И вдруг мужик, я помню его фамилию — Нариганов — сказал: «Да, конечно». Мы договорились, что на обратном пути мы что-то перетащим.

И тогда мы взяли за эти спинки от кроватей, и вдруг он говорит: «А дом купить не хотите?». Мы: «Ха-ха-ха!». Конечно, раз вязанка дров, то и дом. Он говорит: «А я не шучу, я должен срочно уехать. Есть нечего, работы нету. Я срочно продаю

дом. Но и покупателей нету». Наталья Алексеевна вернулась, сделала несколько шагов назад, и начали разговаривать. Ну, всерьез из нас никто не отнесся, я-то, конечно, не отнеслась, потому что мне было пятнадцать лет. И мы пошли к Марье Степановне, потому что почта уже закрылась.

Пришли к Марье Степановне, я прекрасно помню, как она обрадовалась, потому что любой человек с большой земли — это было счастьем... Вообще, описано, как она жила во время войны, и героическая, конечно, жизнь и ее, и Анны Александровны Корага, которая оставалась с ней... Она из Тютчевых, такая тощая, такая... дама. Образованная, потому что она знала несколько языков, Маруся ничего не знала. И вот она осталась из-за своей астмы жить в Коктебеле. И Маруся, во-первых, не верила, и они не верили, что немцы займут Крым, они думали, что пока там война, они как-то перебьются. И когда немцы уже стали захватывать Крым, они наняли мужиков каких-то, выкопали котлован, в который снесли всю библиотеку и эту знаменитую Таиах — помните, да? — скульптуру. Это совсем не подлинник...



Максимилиан Волошин и царица Таиах. Коктебель, 1912. Источник фото: https://muzeemania.ru/2021/03/28/popovskij_voloshina/

Д. С.: Да?

О. С.: Да. Это за какие-то труды Волошина в Лувре, по-моему, ему сделали отливку. Сейчас очень много выяснили про эту Таиах, она совсем не Таиах, а совсем что-то близкое, но произношение другое. И по-моему даже, когда они ее закапывали, она треснула, и они ее забинтовали.

И я еще помню, что она стояла после войны, уже на своем месте в мастерской, там, в углу (это называлось каюта) забинтованная еще, в каких-то там бинтах, тряпках. Нет, бинты это все-таки были какие-то.

И Наталья Алексеевна с хохотом ей рассказывает: «А Нариганов сказал, что дом продает». И вдруг Маруся говорит: «Ну конечно, покупай». У нас и денег нет, потому что когда Александр Георгиевич возвращается из ссылки, есть нечего, зарплаты [не хватает], и он хочет что-нибудь продать из своих картин. Тропинина, «Пряха». Он не может поворачиваться спиной или задом к студентам, потому что все заштопано и перештопано. Он боится, что он встанет, а там будет совсем не тот вид.

Ну там история с этой «Пряхой» тоже... Как удалось продать, это тоже очень трудно было. Павел Димитриевич Корин, известный тоже так не очень хорошо себя вел, и Горнунг... Горнунг — вам тоже имя известно?

Д. С.: Лев который?

О. С.: Да, он потом ослеп... это вы все знаете, да? Когда Александр Георгиевич продавал «Пряху», а Наталья Алексеевна была в Коктебеле, это через год или полтора, наверное, было, я не знаю, куда она ушла... проследить ее путь, кто купил...

Д. С.: И сейчас неизвестно, да?

О. С.: Не знаю, да. Я думала — она висит в Третьяковке, но я принесла туда фотографию, и мне заочно казалось, что это тоже самое, а когда мы сравнили, она действительно оказалась другой, повторением. Эта не знаю, где находится. Горнунг тоже такой вилючий был человек, и потом, когда он остался единственным свидетелем, потому что он дожил, по-моему, до девяноста лет, он много привирал. Может быть, слово «привирать» — это грубо, но «легенда» — и это мне пришлось

выверять. Я это выверяла по ряду событий. Он пишет так-то, но я тоже очевидец (*смеется*). Мне всегда было интересно дотошно... не приврать, а вот вывести на чистую воду.

Ну вот, Марья Степановна говорит: «Наташа, покупай». Она говорит: «Денег нету», хотя Александр Георгиевич уже профессорствует, а потом уже грозит формализм этот, и потом опять начинается голод: его же отовсюду выгоняют, жрать нечего, пошли в ход продажи книг, я тут все написала, вам не надо это — уже зафиксировано, так что это можно обойти. И Маруся говорит: «Знаешь, мне москвичи прислали много денег». Потому что все, зная, что Марье Степановне надо как-то выживать — у нее же ни пенсии, ничего после освобождения, она совершенно нищая, и действительно ей пересылают друзья, которые, конечно, ее очень и любили, и почитали, и, вообще... Потом она приют все время давала на чердаке. Там масса безденежных людей, которые ютились с удовольствием на чердаке, и вообще там был салон. Даже и молодежи, и более старших людей, не больше восьми — девяти человек, там же все-таки менялось еще.

И Маруся говорит, что «я тебе одолжу денег».

На следующий день мы пошли на почту, через этого Нариганова, договорились, что мы покупаем дом, а на почте послали телеграмму: «Доехали благополучно купили дом вышли пять тысяч».



Дом Габричевских в Коктебеле. Архив О. С. Северцевой

Д. С.: Дом стоил пять тысяч?

О. С.: До реформы, это пятьсот рублей, реформа 47-го года...

Д. С.: То есть, это...

О. С.: Но это все равно, в кармане денег не было...

Д. С.: Да, но это значит...

О. С.: Тогда это было один к десяти.

Д. С.: Две с половиной профессорской зарплаты, так?

О. С.: Да, нет. Пять тысяч... трудно сказать, потому что переводили эти деньги... не всегда один к одному... как-то...

Д. С.: Ну, примерно, как порядок.

О. С.: Две с половиной? Ну, может быть.

Д. С.: Ну, три, четыре...

О. С.: Нет, нет. Меньше, меньше... гораздо меньше. Дело в том, что Александр Георгиевич... Вот интересная вещь произошла у советской власти, в советской стране. Александра Георгиевича арестовали, сослали, потом великий академик Виноградов — основатель Института русского языка и так далее. Я в переписке его с женой — листала его книжку и там обнаружила, и еще не помню у кого...

Д. С.: Что пересылали в лагерь деньги? Это вы хотите сказать?



Александр Габричевский в ссылке в Свердловске. Начало 1940-х. Архив О. С. Северцевой

О. С.: Членкорские не отнимали. Вот как это так произошло в советской стране? Объясните мне. Всего лишали...

Д. С.: Ну, ведь и в лагере люди работали и зарабатывали...

О. С.: Ничего они не зарабатывали.

Д. С.: Бывало — зарабатывали. Больше того, и выходили со сберкнижкой с деньгами, такое тоже бывало.

О. С.: А здесь вот жены получают...

Д. С.: Ну, перевернутый мир, не пытайтесь логику найти (*смеется*).

О. С.: Ну, все-таки, ну, все-таки... но ведь расстреливают, убивают и вдруг при всем при этом еще арестованным или женам выдают пособие... Ну что это такое? Невероятно. Ну, ладно.

Ну, потом все равно отняли (*смеется*). Отняли, когда уничтожили Академию архитектуры...

Д. С.: Что отняли?

О. С.: Членкорские. Но это уже было... пятьдесят какой-то год... пятый, что ли? Это надо проверять.

И в результате Александр Георгиевич где-то занял деньги, в общем, прислал эти деньги, и мы через два или три дня поселились в собственном доме.

Он состоял из одной комнаты, вот такой в плане, тут дверь, здесь передняя, вот пополам разделено это — комната, а это — кухня. Больше ничего. Есть фотографии. Но, ни мебели, ничего нет абсолютно, были только сенники тогда... это чехлы такие полосатые — из чего они там делались-то? Льяные, наверное, — которые набивались травой. Но трава-то там еще колючая (*смеется*). Довольно трудно было найти, где можно купить сена. И мы спали с Натальей Алексеевной, два сенника были вот вдоль торцевой стены, Наталья Алексеевна спала головой сюда, я головой в противоположную [сторону], и наши пятки вот так соединялись.

Больше ничего не было, и вдруг Марья Степановна говорит: «Наташ, пойди на чердак, там сохранились татарские столики, которые Масичка тебе подарил». Тут какая-то вещь была подозрительная, потому что впоследствии... Мы принесли эти столики, это тоже была единственная мебель, они стояли около наших этих кроватей.

И тут началась живопись Натальи Алексеевны, потому что она достала битумный лак, покрасила их все черным, и кто-то из художников был в Литфонде, дал красок, и она расписала эти два столика. И они сохранились у меня, они существуют. Один с каперсами такой, с цветочками, а другой, тоже по черному фону, желто-сине-красные рыбки. Это была наша мебель.

Потом, когда Наталья Алексеевна уже приехала, она продала свою котиковую шубу, чтобы расплатиться с долгами. Вот на котиковую шубу был куплен дом. И мы вообще прекрасно в этом доме жили. Какие-то люди потянулись... из Литфонда...

Д. С.: А кто тогда... вот вы говорите в Литфонде... в Коктебеле жило двадцать человек. Это кто, вы знаете?

О. С.: Вы знаете, не могу вам сказать... Куприяновы были (Кукрыниксы), Адельгейм... не ручаюсь. Потом малоизвестная такая Любочка Назаревская, она всегда была при Волошинском доме, она была потом машинисткой и была что-то вроде администратора при Камерном театре. Для Коктебеля она играла свою роль, потому что много жила и, вообще, была со всеми знакома, со всеми приезжающими, уезжающими. Кто же? Кальма — такая была писательница детская. Замужем она была за... не знаю, чем он занимался, его профессия, но сын университетского профессора Готье. Почему я запомнила фамилию — не знаю. Очень милые люди... очень милые.

Д. С.: А, так Готье, это, видимо, этого, Юрия Владимировича Готье — историка.

О. С.: Не могу вам сказать...

Д. С.: Точно, точно.

О. С.: Не могу вам сказать. Но он был не филолог. Он был какой-то... не знаю, инженер, физик, механик...

Д. С.: Инженер? Тогда другой Готье, ну, неважно.

О. С.: Да, он не был филологом. Потом... Не знаю, надо подумать, но маловероятно, чтобы я так вспомнила. Во-первых, они действительно были старшие, потом чужие старшие. Благинина — писательница, поэтесса. И потом какие-то ее знакомые тоже, какая-то поэтесса по кличке Бублик (*смеется*).

О круге Волошина

Д. С.: А этот круг Макса, который был в его доме, все с войной закончилось? То есть и со смертью Максимилиана Александровича. Или потом продолжалось?

О. С.: Нет, продолжаться, конечно, почти не могло... Но Федор Александрович приезжал, Петровский, но это было, наверное, немножко позже. Появился Николай Корнеевич Чуковский... Марина Николаевна... какая-то троюродная сестра Натальи Алексеевны... они с удивлением нашли общее родство... нет, не Усольцевых... Новосильцевы и Усовы. Усов — это дед Натальи Алексеевны, мой прадед — биолог.

Д. С.: Вот тот известный Усов, понятно.

О. С.: А вы его не знаете.

Д. С.: Знаю.

О. С.: Вы знаете Дмитрия...

Д. С.: Ну, профессор московского университета который был, да?

О. С.: А он, знаете, кем был (*смеется*)?

Д. С.: Ну, я лучше вас точно не знаю.

О. С.: Нет (*смеется*). Он крестил Андрея Белого.

Д. С.: А, понятно.

О. С.: Эвона как! Но это я узнала совсем недавно, лет пять тому назад.

Д. С.: Так он, по-моему, и упоминает, может быть...

О. С.: Да. Да. Да. И Андрей Белый упоминает его больше, чем Северцова.

Д. С.: Точно, точно.

О. С.: Очаровательный человек был. Вот сейчас надо хлопотать на Ваганьковском кладбище восстанавливать его могилу, потому что он основатель зоопарка, и он член Археологического общества, почетный член, потому что написал целый ряд каких-то интереснейших работ. Вот пойду в университет, надо мне ксерокопии сделать его сообщений, докладов. У меня это почти все есть, но... Во-первых, он раскрыл, что такое куны (ему принадлежит) как монета, не монета, а форма расплаты. Потом определил...

Д. С.: Ну, бог с ним, не вспоминайте...

О. С.: Нет, это очень интересно, потому что он... Были опубликованы какие-то египетские фрески, и он доказал, что эти фрески мог написать только нумидиец, потому что утки, которые там изображены только где-то там в верховьях Нила, больше нигде не водятся. И человек, который мог так точно их написать, должен был их знать. А потом у него большое исследование о единорогах. Надо бы это опубликовать. Потому что он собрал все легенды, большинство, так скажем: там и нарвалы, и носороги, и вообще всякие клыкастые, я не знаю, кто... И сделал какой-то вывод, который я не знаю, но очень интересно.

Д. С.: Кстати говоря, Роберт Рафаилович приезжал в Коктебель?

О. С.: Нет.

Д. С.: Никогда?

О. С.: Нет, нет. По-моему, его сын бывал там, который погиб на фронте. Но он в этом круге не был. Дело в том, что с Фальком

Александр Георгиевич был знаком... во-первых, Фальк был в ГАХНе, там все были знакомы, конечно, хотя в ГАХНе было, по-моему, несколько сотен народу... Нет еще этого исследования: какое количество было причислено к ГАХНу и к его секциям, и входили туда. У меня есть список всех выставок ГАХНа, и там... сейчас я уже не могу всех перечислить, все эти направления, особенно, советские... уже стала забывать, потому что так брезгливо относилась, что поневоле забывать стала.

Д. С.: Я вас немножко сбил с коктейльской темы, потому что все-таки то, что было в Коктебеле в 20-е годы, та вольница и то творчество, чем жили те люди, которые туда приезжали. Все-таки потом это как-то восстановилось?

О. С.: Ну, из кого могло восстановиться?! Уже все посажены.

Д. С.: Ну, я не знаю, вокруг вашей [семьи] Габричевских, нет?

О. С.: Ну, все уменьшается...

Д. С.: Уменьшается, но...



У Габричевских в Москве. 1960-е. Архив О. С. Северцевой

О. С.: Сейчас я вам скажу. Дело не в этом. Понимаете, у меня вон там в шкафу есть все шарады и музыка к этим спектаклям, и песенки все. Это все дарилось Марье Степановне, но они не могут это прочесть и сопоставить, а я знаю это просто по тем... как бы вам сказать...

Дело в том, что это круг ГАХНовский уже замирает, конечно, со смертью Волошина. Во-первых, в 29-м, в 28-м годах, если вы читали переписку с Волошиным еще в другой книжечке у Александра Георгиевича, Макс пишет: «Саша, почему ты молчишь, и молчат все?». И Александр Георгиевич ему отвечает, что: «я очень занят, а с остальными ты догадываешься». Потому что ГАХН разгоняют в 29-м году, но начинают с 28-го года. И Федора Александровича сажают, в Архангельск ссылают, по-моему, в 27-м году. Да, наверное, вот так. А потом Шапошникова... еще целый ряд... у меня все это записано.

Д. С.: Это понятно. Мне интересно было: новое что-то было, не новое, вернее, а оставалось ли что-то, и главное, как память места?

О. С.: Вы знаете, у меня все эти имена в моей книжке... Голлербах. Вот письмо Голлербаха: «Александр Георгиевич, напишите мне, как умер Макс». Дело в том, что их сажают, уже 28-й — 30-й год. Александра Георгиевича сажают в 30-м году, потому что Комакадемия все время катит бочку на ГАХН, на остатки ГАХНа... у меня есть все эти статьи газетные... уничтожение академии и так далее, и так далее. И Александра Георгиевича сажают, по-моему, месяца на два, наверное, и выпускают. И берут с него подписку о невыезде, и Александр Георгиевич абсолютно об этом забывает, он в этом отношении страдающий, но очень легкомысленный. Как только все становится благополучным, он о прошлом даже и не заботится. Я уже в 80-х годах подавала бумаги о его реабилитации, потому что без этого не давали мне прочесть его...

Д. С.: Дело.

О. С.: Допросы. А он и не думал даже, что он продолжает быть... с него не снята судимость. Потому что в снятии судимости ему отказали в 46-м году, или в 45-м, тоже даты есть, я могу сейчас просто путать. А судимость-то я с него сняла уже двадцать лет спустя, после его смерти, фактически...

Д. С.: Понятно.

О. С.: Поэтому они тогда понемножку, разрозненно... круга уже нету.

Д. С.: А позже, совсем позже... 70-е...

О. С.: А кто остается, интересно?

Д. С.: Нет-нет, я имею в виду новый круг... Все же вольница какая-то коктебельская возникла или нет?

О. С.: Вокруг кого?

Д. С.: Я не знаю, вокруг этих... писательские все, которые там жили...

О. С.: Ну какая же это вольница?

Д. С.: Ну не вольница, пускай не вольница... какое-то творческое содружество...

О. С.: Ну это же не содружество, это не творческое, это же нелюди...

Д. С.: Ну да, конечно, я согласен...

О. С.: И вот он подходит к калитке, и мимо идет такой роскошный господин... товарищ, который обращается через калитку (она в решеточку) к Николаю Федоровичу [Погодину] и говорит: «Здравствуйте, Николай Федорович». А у Николая Федоровича было трясение хрусталика в глазу, поэтому он немножко так дрожал головой. Он подходит и говорит: «Я не пойму, кто со мной разговаривает?» — «Это писатель Вадим Кожевников». И пауза (это я присутствовала): «Такого писателя не было и не будет» (*смеется*). Представляете, после этого, что происходило в голове Вадима Кожевникова? Я обмерла тогда просто, потому что... понятно, почему. Вадим Кожевников, по-моему, был еще крупнее Погодина.

Ну что с Погодиным... Даже Солженицын только один раз его уколол, а так никаких разоблачающих высказываний про Погодина ни от кого не было. Это все-таки, его сыну, моему мужу, было как-то приятно, и были, скорее, хорошие какие-то такие отзывы. Кстати, в дневниках Мура Эфрона... оказывается, Погодин тоже отслюнил какие-то деньги Цветаевой, когда ей нечего было пить, есть и так далее, хотя она жила у нас, кстати, в квартире.

Марина Цветаева в квартире Габричевских

Д.С.: В какой?

О. С.: В московской. В Зоологическом музее.

Д. С.: Это когда же было?

О. С.: Лето 40-го года.

Д. С.: 40-й год. А вы помните ее?

О. С.: Да.

Д. С.: Ну расскажите, пожалуйста, как вы...

О. С.: А ничего интересного.

Д. С.: Как образ...

О. С.: Ну, я маленькая... ну что вы требуете от детей...

Д. С.: Как из-под стола видели ее.

О. С.: Ну мне ж было все равно, кого я вижу...

Д. С.: Ну все равно, помните тетю с подстриженными...

О. С.: Я даже помню, в чем она одета была.

Д. С.: Ну вот, в чем она была одета?

О. С.: Дело в том, что она поселилась в комнате, принадлежащей моему отцу, в которой жил мой брат, а потом я жила еще лет двадцать с лишним, когда переехала в Москву и меня Габричевские взяли к себе. Ну, конечно, были какие-то реплики в разговорах, я их не помню, но я просто как... ну, кто-то достойный существует в квартире... вот так бы сказала, не больше.

А в комнатке маленькой, крохотной при кухне жила нянька, которая воспитывала Наталью Алексеевну. Отец с его братом, с моим дядей... они были старше Натальи Алексеевны, но няньку взяли ухаживать, то есть, выращивать Наталью Алексеевну и ухаживать за ее матерью, у которой, по-моему, сделалась болезнь Альцгеймера. Она была в последние годы в коляске, хотя они ездили и в имение возили ее, и есть фотография — она в коляске, она не могла ходить. Не знаю, действовали ли у нее руки, вот это я не очень помню, со слов Натальи Алексеевны...

Эта нянька оставалась, Габричевские пожили, пожили и уехали в Коктебель.

Кстати, тогда Наталья Алексеевна развелась с Габричевским. Они дважды женились, после войны они опять поженились. И это очень много спасло, потому что когда Александра Георгиевичам арестовывали, то, конечно, там было с конфискацией имущества. А Наталья Алексеевна сказала, что вот это все мое, и к Габричевскому не имеет отношения.

А была замужем она за таким Ростиславом Барто — это брат мужа Агнии Барто.

Д. С.: Брат мужа Агнии Барто, понятно.

О. С.: Было их два брата Барто, за одним из них была замужем Агния. Но все это известно, это надо просто заглянуть. И Барто такой был очень эффектный, достаточно молодой человек... заманчивый, так бы я сказала (*смеется*).

Вы знаете, тогда из-за того, что была такая нехватка площади, что нельзя было выписаться, прописаться и так далее, я что-то насчитала около десяти семей, когда были тройственные союзы, вынужденные.

Это у Булгакова, когда въезжает Елена Сергеевна, а еще Белозерская не выехала. И много, много таких случаев было. И Барто тоже въезжает в квартиру, дедовскую бывшую квартиру. И одна комната, которую занимает Александр Георгиевич, и другая комната, где Наталья Алексеевна и Барто. Это вообще довольно такой странный период жизни, потому что Наталья Алексеевна обслуживает двух мужей (*смеется*). Не в смысле постели, не дай бог, а вот в смысле заботы. Потому что Наталья Алексеевна выходит замуж за Габричевского, она влюблена в него, вот как она переезжает в Москву, с 11-го года... и ей одиннадцать лет. И вот Саша приходит в дом, в квартиру Северцовых, ее отца... Студентов было очень много, потому что Александр Георгиевич сверстник моего отца, там был еще младший брат и у Габричевского — Евгений, и у моего отца брат Николай, которого убивают в 17-м году в арке университета.

Д. С.: Вы, Ольга Сергеевна, о Цветаевой не забыли?

О. С.: Я не ушла... Нет. Это я возвращаюсь к Эфрону. Все знали, что Цветаева жила у нас, но только в дневниках Эфрона написано: «Мы живем у Габричевских. Мама очень любит разговаривать с мадам Барто». Кто такой мадам Барто (*смеется*)? Я [была] изумлена, когда читала. И только потом я понимаю... хотя Наталья Алексеевна — Северцова, что по-французски Мур говорит: вот Барто, а это его жена.



Оля Северцева и А. Г. Габричевский в московской квартире. Архив О. С. Северцовой

Д. С.: Все понятно.

О. С.: И это такое письменное доказательство всего, что... И меня привозят из Ленинграда для того, чтобы отправить с отцом в экспедицию куда-то на Оку. Отец еще за мной не приехал, и я живу, наверное, недели две у Натальи Алексеевны, у мадам Барто, Габричевских и прочих. И в основном у няньки. Нянька была сгорбленная, что-то с позвоночником, она вот так ходила, согнувшись, а потом у стола, опершись вот так, выпрямлялась. У нас на кухонном столе... вернее, там еще от северцовской семьи была огромная плита, которую топили, но в университете был проведен газ. А газовые горелки были на треногах, такие, химические. Такая торчит пипка, которую зажигают, лабораторные, короче говоря. И уже плиту не топили, и на этой плите стояло несколько таких свечек, на которых должна была Марина Ивановна варить себе кофе, еду и прочее (*смеется*). По ворчанию няньки, у нее всегда или пригорало, или убежало, и нянька (это я просто помню) [говорила]: «Ивановна, опять ты!» Ей разрешалось ворчать, а я тоже толкалась в этой же кухне. И вот Марина Ивановна, я очень облик ее помню, но ничего особенного, ну челка, ну, как дети, наверное, запоминают: она была, это я утверждаю: из суровых ниток вязаное платье, перехваченное кожаным поясом. По-моему, я этот кожаный пояс отдала года два или

три тому назад в музей Цветаевой. Я сказала, что я не ручаюсь, но очень похоже... плетеный... У нас в стране в те времена больше таких не встречала никогда. Ну, теперь такие делают, а вот... Не знаю, может, точно, а может, и не точно. И вот она стоит у этой горелки, разговаривает с нянькой и что-то мешает. Вот вам все воспоминания про Марину Ивановну.

Д. С.: Нет, это понятно, что дети... не может быть другого воспоминания, то есть, вы о поэзии Гете не могли разговаривать с Цветаевой...

О. С.: Нет.

Д. С.: Это понятно. Но, все равно, есть какой-то образ. Вот знаете, что интересно...

О. С.: Она такая худая, ну, вытянутая... я не хочу даже слово худая говорить, а ну, стройная... так скажем. Вот так подпоясанная, и вот что-то разговаривает с нянькой, а нянька ворчит. А потом есть воспоминания или письма... что-то такое... Не воспоминания, конечно, цветаевские, что она с удовольствием эту няньку вспоминает. Но это я где-то прочла. Что они с нянькой замечательно прожили лето.

Д. С.: Лето, значит, она у вас жила?

Дело германистов

О. С.: Ну я точно не знаю, да. И тут еще тоже есть такая хитрость... Белкина, которая писала книги о Цветаевой, она пишет, что Цветаеву в дом привел Вильям-Вильмонт. Это чистая брехня. Я объясню почему. Когда в 35-м году было сделано дело немецко-фашистской организации на территории СССР, и всех германистов посадили, сто двадцать с лишним человек: это немецкая редакция «Academia», это кафедра Института новых иностранных языков... Тореза, а теперь, не знаю, как называется, это университетское, это работники библиотек... у меня просто есть список, почти весь, арестованных. Это мне помогли, когда я читала документы Александра Георгиевича, то там такой подполковник, который, не помню, как его зовут, у меня записано, он дал мне еще один том, из которого я выписывала... мог и не давать. И прекратилось издание... немецкое, то есть, гетевское юбилейное издание. Вы знаете о нем? Нет, это я не проверяюсь, спрашиваю. Тринадцатитомное издание. Вот тут книжка лежит черненькая.

Д. С.: Боюсь, что да.

О. С.: Вот эта и еще...

Д. С.: Да, да. А у меня они, правда, не все тома, но есть.

О. С.: Вот первые три тома делает Александр Георгиевич...

Д. С.: Вместе с Сергеем Васильевичем Шервинским.

О. С.: Да, а второй том — он целиком. И вся переписка там, с Кузминым и так далее... И в 35-м году после «Дела славистов» 34-го года, сажают германистов. И тут разгорается много дел. Я потом, если нужно будет, это я все расскажу, я знаю, просто все это дело я изучала, у меня есть ксероксы, у меня много материала очень. Может недостаточно, но много.

И тут Вильям-Вельмонт тоже переводил какие-то стихи, но дело в том, что после того, кто выжил после немецко-фашистской организации... вот Шпета сажают... вообще там делают такую ячейку из ГАХНовцев, называется «научная ячейка», сначала там были одни в этой ячейке — Ярхо, Михаил Александрович Петровский — брат Федора Александровича, потом... Александр Георгиевич, Ярхо, Михаил Александрович, Шпет и еще одна дамочка — Дружинина, которая была возлюбленная Михаила Александровича Петровского, и из-за этого тоже было ужасно все, потому что жена, узнав о романе, отказалась вообще хлопотать о Михаиле Александровиче Петровском из обиды и прочее. И Федор Александрович содержал семью брата, внучек и так далее, и так далее, взяв все на себя.

Д. С.: Ольга Сергеевна, каждый раз, когда сталкиваешься со всеми этими делами, академиками все равно, в который раз вопрос возникает — зачем? Почему? Вот вы для себя как раньше и сейчас отвечаете на этот вопрос — зачем?

О. С.: Сажали?

Д. С.: Нет. Вот сделали дело немецко-фашистское, посадили всех германистов...

О. С.: Ну, уничтожали всю интеллигенцию, осознанно.

Д. С.: Причина? Легче управлять?

О. С.: Ну мешали, это еще Ленин начал.

Д. С.: Да, да. Понятно.

О. С.: Усих порубать...

Д. С.: Да, конечно.

О. С.: Они же новое государство строили... разрушим, а затем... Это поразительно рационально делалось, это так было решено. Вообще, никакой Гитлер с этим не сравнится, конечно, потому что Гитлеру сколько было... двенадцать лет, что ли всего, а мы — восемьдесят... да еще продолжаем.

Д. С.: Славная традиция.

О. С.: Ну, конечно, потому что сознание у всех еще то... даже у молодежи так называемой.

Д. С.: Специально пестуют, именно то сознание...

О. С.: Да. Но дело в том, что Михаила Александровича и Шпета расстреляли уже не по этому делу, а по делу... в Томске, не знаю, как его называть... В общем, по указу... это известно — по чьему указу. Они расстреливали всех ссыльных, и я видела у дочки Шпета такую книжку... Это был только именной указатель расстрелянных людей. Это что-то чудовищное, я думаю, что он даже не очень хорошо сделан, потому что им надо было бы, тем, которые делали, это уже 80-е годы, там и Шпетовские чтения потом были, надо было — откуда их прислали. Потому что просто это были повторные аресты, и тройка расстреливала. Причем, как мне кажется, я на даты смотрела, а может, это моя фантазия: там они шли сто имен по алфавиту от буквы А, потом сто имен от Я, потом серединка. Есть такая книжка «Шпет в Сибири», из-за чего я страшно переругалась с семьей Шпета, потому что Шпет говорил, что — это тоже можно прочитать у меня, — что Саша на него донес. На самом деле все было не так, и пока я не стала читать эти расстрельные дела, то даже на мне это обвинение сказывалось, шпетовское и его семьи, потому что в Коктебеле была дружная компания: Константин Михайлович Поливанов, который еще бывал при Волошине, Миша Поливанов...

Д. С.: Сын его?

О. С.: А Котик — это уже внук, то есть, его сын.

Д. С.: Да, да, да... он у меня литературу преподавал.

О. С.: А, ну вот... Котик?

Д. С.: Константин Михайлович.

О. С.: Ну да, Константин, но это уже внук Константина Михайловича.

Д. С.: Понятно, да, да, да.

О. С.: А Миша был физиком. И всё сделали, чтобы мы не дружили, у нас не было ни романов никаких... Это был табунок, который бегал, или мы вот оплывали весь Карадаг, например. Вот мне свистнули на заре, я из этого домика удрала, а потом мы появились дома только в шесть или семь часов вечера. Ну, паника всюду была, конечно...

Д. С.: А с кем вы оплывали?

О. С.: Алик Пазухин, Миша Поливанов, потом, брат Эрик — этого Пазухина... Да, по-моему, вчетвером только и были, может быть, еще кто-то был...



Александр Габричевский в Коктебеле. 1960-е. Архив О. С. Северцевой